

Михаил Садовский  
*Ощущение времени*



# Михаил Садовский

## Ощущение времени

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24120622](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24120622)*

*ISBN 9785448507632*

### Аннотация

Роман «Ощущение времени» точно и достоверно воспроизводит положение интеллигенции и её настроения в стране Советов в последующие полтора десятилетия после разоблачения культа личности Сталина. В романе также откровенно и ярко звучит тема пресловутого «еврейского вопроса».

Контрапунктом повествования является история чистой любви двух детей совсем нежного возраста.

Книга не имеет возрастных ограничений и будет полезна особенно тем, кто мало знает об этих «славных» годах.

# Содержание

Предисловие к первому изданию	5
I	9
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Ощущение времени

**Михаил Садовский**

*Редактор* Лара Садовская

*Корректор* Светлана Борисова

*Фото на обложке* А. А. Фролов

© Михаил Садовский, 2017

ISBN 978-5-4485-0763-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Предисловие к первому изданию

Предисловие пишут после того, как готова книга. Книгу пишут после того, как прожита часть отпущенного на земле срока. У писателя появляется потребность осмыслить прошедшее и поделиться с читателями, коими подразумевает он всех людей земли.

Это не моя выдумка – это правило.

«Жить было одиноко и весело от разнообразия получаемых ударов, неожиданных сложностей и непреодолимости пространства по прямой из-за чужой воли. Зигзагами, поворотами и возвращениями так наполнялся каждый пройденный день, что ты даже не замечал своего рабского бесправия, а превращался в борца. Не человека с накачанными мускулами и необидным отношением к боли, а зомбированного на непрерывное преодоление приспособленца – горько и стыдно. И тогда и сейчас. Правда вообще мало съедобна, от неё всегда нехорошее самочувствие. Но не составляй она малую часть атмосферы – задохнёшься. Жить же только одной правдой, как дышать чистым кислородом, – смертельно опасно. Всё окисляется в их среде, выгорает, умирает.

Природа нашла единственное возможное соотношение составляющих воздуха для всего живого. Человек, единственное разумное на планете существо, никак не может определить количество правды в жизни, пригодное для су-

ществования... больше того... за тысячи лет он не продвинулся в этих поисках ни на чуть вперёд, а может быть, даже движется уже назад... пока это трудно определить...».

Эти слова в кавычках, потому что принадлежат главному герою повествования Давиду Самарскому. Я взял их из текста...

Действительно, дни налипают на нас чешуёй, тусклой и непреодолимой. Сквозь этот панцирь всё труднее с годами проникать боли и радости, но в каждом навсегда незаместимо, как запах, остаётся ощущение времени.

Не из-за этого ли наша жизнь на людях мало похожа на внутреннюю, скрытую от посторонних глаз, определяющую не только наши надежды и сожаления, но порой необъяснимые для окружающих высказывания, решения, поступки. Право, они несовместимы, эти две жизни... наивные попытки соединить их кончаются крахом, что легко вывести не только на примере своих знакомых, но по прочтении жизни знаменитых, великих людей через много десятилетий после их перехода в департамент истории, когда становятся доступными их биографии, дневники, письма, труды...

Время – волшебно соединяет несовместимое – отодвигает фигуры от нас и приближает к нам их личности, проясняя в назидание и для подражания... Они наши звёзды в пути... может быть, мы плохо умеем читать ориентиры или расплывчатость цели вредит нашему успеху?

Никто не знает ответа... а будь он прост и доступен,

не остановится ли сама жизнь?!

Читатель, пожалуйста, не ищи совпадений. Лишь некоторые фигуры в повествовании названы своими именами. Это люди, которым я безмерно благодарен. Судьба подарила мне знакомство и дружбу с ними.

Заранее хочу сказать спасибо всем, кто открыл эту книгу. Земля становится всё меньше, книг всё больше, выбор всё труднее...

Вы можете не согласиться с героями романа... всем свойственно ошибаться... но никто не сумеет уличить во лжи и упрекнуть их автора...

*Воскресенье, 28 сентября 2003 г.*

*Нью-Джерси*

*Создание образов остаётся  
исключительным правом бога-творца. Людям он  
разрешил давать этим образам имена, но стремление  
творить их самому – гордыня и кощунство.*

*Лион Фейхтвангер. Иудейская война*

*Встретили меня стражи, обходящие город*

*«не видали ли вы того,  
которого любит душа моя?»*

*Песнь песней Соломона (3, 3)*

*Да, это и есть мой народ, подумал я.*

*Если Мессия придёт, то именно к ним —*

*других ведь нет.*  
*Исаак Башевис Зингер*

# I

Что за судьба у моего народа! Никакому другому не пришлось за свою историю столько двигаться по миру! То Яхве велит праотцу Аврааму идти жить в землю Ханаанскую, то Моисей уводит его из плена египетского, то он кочует не по своей воле по дикой Европе, оседая частями, то его изгоняют из неё и грозят полным уничтожением. Он обретает наконец свой дом, утраченный тысячелетия назад, и, кажется, мир и покой в окружении своих сводных братьев, ведь у них один отец – Авраам! А его опять хотят уничтожить и опять гонят вон – почему, куда? И как объяснить это?

Что несёт с собой мой народ? Книгу. Великую Книгу, которую получил после того, как от неё отказались... кто? Те, кому её нести не по силам? Те, кто испугался, что слишком много надо отдать взамен за обладание ею... а мы не испугались ни сотен заповедей, ею предписанных, ни жертв и кар за нарушение их... Может быть, мы сами навлекли на себя беды нашей истории отступничеством, непотворением угнетению и ассимиляции? Почему мы веками, забывая о своём национальном «Я», о своём предназначении на земле, работали на благо тех, кто стоял над нами?

И как нам удалось всё же остаться евреями, и почему мы знаем, что евреи? Мы, воспитанные в оголтелом атеизме, страхе, презрении, преследовании, не имея возможности по-

стигнуть суть и причины давления на нас, чтобы хотя бы избежать его, если не исправить мир?

У этих вопросов есть ответы? Есть? Доступные каждому? Без образовательных цензов, долгих дискуссий и назиданий толкователей нашей Книги? Есть ответы не на диспуте учёных, но понятные простому человеку, мечтающему о том лишь, чтобы следующее поколение прожило свой земной век без войны и гонений?!

Книга писателя – не учебник, не пособие, не собрание ценных советов... книга писателя – всегда дневник, и не событий мира, а его собственных размышлений в прошедшем дне и о будущем... и пусть он болеет за судьбы людей, но пишет о тех, кто ему роднее и ближе...

Мы уходим в дорогу, у которой нет конца, по Млечному Пути одиночества и тревоги. Нам суждено спотыкаться о грани сверкающего и пустого, ибо в природе человеческой заложено Всевышним стремление вперёд через преодоление и забвение, в неизведанное.

Сказано в Книге Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме: «Что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Так куда же ты вечно, народ мой?..

\*\*\*

Память – зеркало на подставке с осью посередине. Мож-

но перевернуть и увидеть обратную сторону себя в увеличенном, приближенном виде. Морщины становятся большими, настолько, что в них легко протиснуться взглядом и обнаружить себя совсем молодого, даже маленького, с круглым, не соответствующим худющему телу и тяжким временам лицом и недетским взглядом. Там начинаются разные нити, протянутые через всю жизнь и скоро оборванные ею... там начало всего. Если хочешь разобраться в чём-то сегодня, вернись туда и взглядишь внимательно... может быть, там разгадка?

И ещё эта выработанная, а теперь необходимая привычка смотреть на себя в зеркало при каждой неудаче и говорить в лицо самому себе: «Ты сам во всём виноват. Ты – и никто другой. Надо только понять, где ты ошибся...».

Именно в таком состоянии его мысли прервал голос, раздавшийся сзади, и тяжёлая рука легла ему на плечо...

– Слышь, старик, стой! – Сашка Зверской возник рядом в той же венецианской раме. – На тебе лица нет! Ты что, у Лерки был? Понял... я в курсе... – он не дожидаясь ответа. – Знаешь что? – налёг он мягким животом и припёр товарища к барьеру на квадратной площадке между пролётами поворачивавшей под углом девяносто градусов лестницы. – Тебе надо пойти врезать сейчас... возьми бабу хорошую за ж... и... её до умопомрачения... – он изучающе смотрел прямо в лицо. – Ты меня понял?.. А на этих наплюй, а то сойдёшь с ума...

– Конечно, – согласился Додик. – Ты сегодня квартиры не распределял?

– Зря ты так!.. Я ни в чём не виноват... стараюсь ради вас же – ты думаешь, мне это надо? Я ради друзей, а то бы намного хуже было...

– Тебе? – поинтересовался Додик...

– Ну, с тобой сегодня говорить невозможно! Да, знаю я всё и не обижаюсь... Тебя на приёме защитить некому было... времена уже меняются, понимаешь... люди уходят... Если бы Длинный был жив, он бы отбил... а у этой старой суки алиби вечное: она писать не умеет, зато её отец на бронепоезде Вождя возил, а потом сгинул... в солнечных краях... Она ведь тоже нахлебалась... тут же все меченые... мы все... и ты... брат, тоже...

– Конечно, – согласился Додик. – Если соседу хорошо, я, по крайней мере, напишу ему в чайник, если не могу отравить колодец...

– Ну, ты вразнос пошёл! Я тебя одного не оставлю! Пошли выпьем... сейчас замок захлопну...

– Не стоит, Саш... я на казённые не пью! – Додик похлопал товарища рукой по тёплой ковбойке на жирной груди и предупредительно остановил потом свою ладонь перед его лицом, чтобы прекратить изливания...

Организация, в которую стремился Давид Самарский и в которую его не приняли, называлась творческим Союзом писателей, в обиходе СП... Обыватель, или, выражаясь язы-

ком самого передового общества, «простой человек», представлял себе горстку неких небожителей – писателей, людей, живущих в непостижимых удобствах, загребаящих тыщи и обречённых на все немыслимые радости жизни. Некоторым вообще казалось, что живут они все вместе в огороженном, охраняемом доме и творят, творят, творят... А если даже и застопорится дело – всё же не сапоги тачать да табуретки мастерить, так всё одно: бежит им день за днём кругленькая сумма каждый месяц и пайки казённые выдают на прокорм семьи, чтоб не ушла искра творчества в суету повседневного быта... Надо сказать, что недалеко эти люди от истины были (в отношении немногих некоторых), а что касается праздного любопытства – повидать живого писателя и спросить его о самом главном, и тут бывала удача, правда, тем, кто поближе к разным большим городам жили, потому что писатели все тянулись к столичным трибунам и в пору, когда телевизор ещё только входил в обиход своими чёрными картинками...

Портреты самых главных писателей, как, например, «лучшего пролетарского поэта советской эпохи», «глашатая революции» или признанного «главу советского соцреализма», можно было найти и в школьном учебнике, и на стенке в библиотеке, потому что обязательно изучали их мысли по поводу советского паспорта, скажем, или пацана, который бежал впереди толпы со своим вырванным из груди сердцем в руке, а над ним летела птица – наверное, дорогу указывала – и кри-

чала, что рождена летать и ползать не желает... Были и другие, конечно, все почему-то с каменно-металлическими названиями своих книг. Они просто овладели смежными с писательством профессиями: месили цемент, закаляли сталь, гнали железный поток и с восторгом строили канал, покуривая «Беломор». На письма трудящихся графоманов от литературы отвечали туго, зато иногда попадали во власть и вместе с доярками и шахтёрами руководили страной. По крайней мере, делали вид...

Многие из этих небожителей попадали под зоркое всевидящее око, и тогда им приходилось туго – народ их критиковал и осуждал за неправильно написанное, иногда их и вообще ссылали, как каких-нибудь мазуриков, подальше с глаз долой, но не в Кишинёв и не в Одессу, а в другую, более солнечную и менее обжитую часть необъятной страны, где они валили лес и таким образом изучали жизнь, чтобы потом воплотить праздник труда на страницах своих творений...

Додик Самарский не производил впечатление ни дурака, ни карьериста, и какая сила толкала его на преодоление непреодолимого, было непонятно непосвящённому... но совершенно ясно было ему самому: хотел он тоже издавать то, что пишет, потому как заболел этой неизлечимой страстью в детстве – сначала бормотал стишки и старался их не забыть, потому что писать ещё не умел, потом учителя стали выделять его сочинения и отправляли их успешно (до поры до времени) на всякие конкурсы в район и в город, а по-

том уж и сам он вдруг отважился на такую дерзость да и отправил в редакцию набело переписанные свои тетрадки... а их возьми да и напечатай... но тут время погустело, возраст перешёл грань, когда умиляются смышлёному ребёнку, и Союз сильно разросся (имеется в виду писателей, чтобы кто-нибудь не подумал чего плохого), и ужесточился сильно приём в него. Трудно стало получить удостоверение, что ты профессиональный работник литературы, что имеешь право наряду с другими... ну, не только книги издавать, а ещё и (главное) ... получать квартиры, ездить в командировки, и даже заграничные, а уж про талоны на паёк, новый телевизор и автомобиль и говорить нечего...

Как жизнь протекала в таком творческом дружном единении писателей, отстаивающих свои блага, к тому времени, как вышел в мир Давид Самарский, уже написал Михаил Афанасьевич Булгаков... но людям не под силу было прочесть этого, потому как в родной стране не позволили издавать этот замечательный роман про Мастера и Маргариту... трудно нам сказать, почему? Возможно, потому, что один мастер положен был стране социализма, и он руководил ею. Возможно, потому что много нечисти общалось с избранной элитой и роняло её престиж. Возможно, потому что боялись сатанинской силы, с такой невероятной достоверностью описанной в романе, что нельзя было не поверить, что она существует и творит справедливый суд, а может, потому что Маргарита совершенно голая летала верхом на виду у все-

го света на простом советском чиновнике, и это уж было настолько против правил морали самого передового общества, что, конечно, не могло быть обнародовано!!!

Может быть, если бы Додик Самарский прочёл в ранней юности этот гениальный и правдивый труд, не стал бы он ломиться в наглухо закрытую дверь и наступил бы, в самом деле, «на горло собственной песне», и пошёл бы в другую... область творчества, где ещё с его анкетой и соц. происхождением был шанс пробиться на поверхность под лучи яркого солнца, уже добирающиеся до существующих дней из светлого завтра... Потому что нехорошее поговаривали про Приёмную комиссию, куда сдал он свои тощие опусы... что нехорошо она реагирует на пятый пункт, потому как много что-то этого «шустрого племени» просочилось в ряды словотворцев, и как бы они не организовали очередной заговор, каких уже немало разоблачили ловкачи за короткий срок с начала светлой эры...

Рвался Додик отчаянно, а получалось, как в болоте – чем больше суетишься, тем глубже погружаешься...

На улице было тепло. На углу у двухэтажного особнячка от размякшей земли дурманяще пахло весной. Ей вовсе не было дела до всех неприятностей на земле – так же тут пахло наверняка, когда строили это потрескавшееся сейчас и всё равно привлекательное зданьице... Крестьяне, по воле барина ставшие рабочими, суетились, тархтела по деревянному настилу тачка с глиной, фыркала в торбу запряжённая

в телегу лошадь, ожидая очередной ездки... раскисшая колея сверкала первым в году голубым ремешком лужицы... Хотелось наступить в неё и зачавкать сапогами, трудно высвобождая их, брести по разбитой дорожке, далеко и бездумно, вслед за тем, кто уже проторил её.

Он потянул за ручку дверь, толкнул ногой вторую в крошечном тамбуре и оказался в суженном шкафами коридоре... «Тут, наверное, была людская, – соображал он на ходу, – теперь фанерками разгородили – кабинеты получились». Скрипучая лестница закручивалась на второй этаж в коридор, тоже заваленный бумагами на стоящих вдоль стен шкафах с эллипсными жестяными инвентарными номерками на боках... «Всё учтено. Всё схвачено...» – он опять поймал себя на том, что будто ходит с мешком за плечами, как Дед Мороз, только не раздаёт, а собирает в него всякие вещи, которые могут пригодиться... притом все они остаются на месте – он забирает с собой только их образы, уменьшенные до размеров памяти и потому разрастающиеся в нужный момент до необходимых и неограниченных размеров. «Вот этот шкаф... „Многоуважаемый шкаф!“ – он остановился... – Я могу описать его, могу придумать целую историю его создания и жизни, а если открыть дверцу и углубиться в папки, стоящие на его полках, то наверняка и историю целой страны, через судьбы людей, вынутых со страниц документов, справок, отписок, заявлений, судебных решений, протоколов, смет...».

– Нет, Серый, – сказал он поднявшемуся из-за стола человеку, – нет... я не пробью эту стену... Видно, не хватает таланту...

– Брось! Ты же знаешь, что несёшь ерунду... а судьи кто?.. Ты же умный человек... ничего не изменилось... лишайник на поверхности, а под ним всё тот же неотёсанный камень...

– Это пьеса абсурда... надо быть настолько выше их, чтобы не возникало и капли сомнения... а я не тяну – значит, не выделяюсь...

– Помнишь нашего майора?

– Каплуненко?

– Именно! Он нас как учил: не высовывайся... в говно макнут или башку снесут... ты же психолог по сути... должен стараться быть объективным... был бы как все – они бы давно взяли тебя в свою компанию...

– Шайку! – поправил Додик...

– Зачем же тебе в шайку?! – искренне изумился приятель. – Тебя же туда за уши не тянут...

– Тянут... я вынужден сам туда тянуться... иначе не выжить! Это же бирка, как на твоём шкафу, – я должен быть инвентаризирован... тогда мной можно управлять, потому что я не принадлежу себе. Понимаешь? Дают подачку – пиши! Пишешь – знаешь, что, чтобы получить подачку... условный рефлекс. Примитивно и надёжно. Надо менять профессию... да и какая это профессия – писатель? Писатель не профессия – это состояние души... кому нужна душа?.. Всё так па-

фосно, размыто, обуглено... пошло и противно... У этого спора нет конца... ты же знаешь... поеду к тётке... прощай!

– Что значит «прощай»? Подожди, подожди...

– Хм... – усмехнулся Додик. – Видно, я совсем не в форме! Зверской мне тоже посоветовал отвлечься традиционным мужским способом! Не бойся!.. Это вершина... там всегда мало кислорода... Тяжело дышать... мозги плохо работают... пошёл с перевала на снижение в долину радости – назад к природе, к весне...

– Что-то мне всё это не нравится... поеду с тобой!

– Нет! Серый, не надо, – Додик остановил его жестом. – Правда, не надо... хочется побыть одному... посмотреть на себя в зеркало...

Кухня стала ностальгической единицей в самом начале шестидесятых, когда появились «отдельные квартиры у населения». Не только у знаменитых лётчиков, академиков, прикормленных писателей, артистов, улыбающихся светлomu завтра с экранов, и «ответственных работников», но следом у директоров гастронома и универсама, начальников цеха, зампредисполкома, секретаря парткома, завскладом – всей более мелкой номенклатуры от инструктора райкома до члена ветеранского совета ДОСААФ и капитана милиции, потом уже шли кто ни попадя (всё зависело от способностей): предместкома, учителя, профессора университета и всякая прочая рабочая и служащая масса, даже библиотекари и простая интеллигенция...

Людам, не пережившим праздника получения смотрового ордера после пятнадцати лет ожидания, въезда в новое жильё, пахнущее свежими сосновыми распилами и невысохшей штукатуркой и побелкой, людям, не пережившим праздник новоселья и первой брачной ночи со СВОЕЙ комнатой, таким людям очень трудно рассказать о чувствах, переполнявших человека в эти поворотные, «судьбоносные» моменты... казалось, что светлое будущее уже задело счастливица крылом! (Это не с чем сравнить, и выдуманные эти слова заменить нечем...) Тогда-то и возникало уважение к власти, старание списать всё горькое за этот поистине невероятный, ни с чем не сравнимый праздник... и какое кому дело до того, что весь цивилизованный мир давно считает отдельную квартиру, отдельный дом, домик такой же естественной потребностью, как брюки, ботинки и очки... Трудно шведа или немца, даже в раздолбанном войной, например, Дрездене, удивить тем, что ты обладатель наконец отдельной, СВОЕЙ квартиры... Это такая специфическая тема, что не объяснить: мало сказать, она выкормила не одно поколение юмористов-сатириков, сделавших себе и имя, и состояние (читай – отдельные квартиры) на зубоскальстве по поводу коммуналки, а уж в скольких фильмах она была центром событий!..

Мы же о другом. Появилась СВОЯ кухня – самое удобное, тёплое, уютное место в квартире... и дорогого гостя уже вели не по-старому, как водилось, в горницу, в парадную комнату,

в залу – нет! Вели в кухню и усаживали в уголок между окном и холодильником напротив газовой плиты перед столом, на котором всегда стоял в плетёной корзиночке хлеб, а рядом с ним появлялась нехитрая снедь под названием «закусь» и, конечно, национальный катализатор – бутылка! Вели дорогого гостя в самое тёплое, щедрое и уютное место в доме.

Кухня первая слышала новые стихи, беспримерные дерзкие идеи, сердечные откровения, боль обид, нанесённых сердцу, страшную тайну прошлых арестов, горькую суть наиболее не верия, первые звуки диссидентских речей, вечную крамолу правды – правды, неугодной власти...

«Кто жил и мыслил, тот не может  
В душе не презирать людей!».

Ах, Александр Сергеевич! Вы дорогой гость на каждой из них...

Ничто не мешало теперь людям, которые доверяли друг другу, сойтись тут и распахнуть душу... а «с развитием телефонной сети» на кухне появились телефоны... со временем перекочевавшие с подоконников на стенку, чтобы не занимать лишнего места... тогда, по мере постижения возможностей подслушивания, требовалось обязательно перед началом разговора вытянуть вилку из телефонной розетки... И это действие было как бы символом и залогом того, что ты в безопасности, и слова, сказанные тут, завтра не окажутся

на столе у всевидящего и всеслышащего гэбэшника (неизбывна, однако, наивность людская) ... который, кстати сказать, на своей кухне вёл себя точно так же, опасаясь власти и, более того, своих изошрённых коллег...

Нет предела доверчивости – и всё же!

Додик отчасти последовал совету своего товарища и «собрата по перу» Зверского. Он сидел на кухне у Лёньки Дрейдена. Одна пустая бутылка уже стояла на полу под окном, вторая, переполовиненная, красовалась в центре стола...

– Плохо, Додик, плохо... Всё плохо... поэтому, извини... беда твоя – не беда, да и нечего лезть в эту клоаку... сам в говне перемажешься и таким дерьмом выглядеть будешь, что... брось ты это...

– Когда ты узнал об этом? – спросил Додик, не поднимая головы.

– Когда?.. Я давно догадывался... и мне всё казалось, что если не произносить вслух, это может не материализоваться... пронесёт... такой своеобразный кон... чёт-нечёт...

– И она тоже знает?..

– Додик, ты знаешь, что такое а клуге копф? Еврейская девочка... Знаешь – умница! Еврейская, умница, красавица, отличница, семья замечательная, судьба должна уравновесить столько хорошего сразу – и всё. Конец. Ты понимаешь? Это конец...

– Лёнька, ты же мне только что говорил: нельзя распускаться, нельзя поддаваться... я понимаю, что настолько

неравнозначно, что и нечего сравнивать, но у тебя Лизка... ей-то ещё труднее, понимаешь... бабушка, дедушка... это не то! – Мама...

Они долго молчали.

– И что, никакой надежды?

– Добрался уже до самого верха... сказали, что есть какие-то ампулы... только-только выработали... не у нас, конечно, но достать можно... проходят испытания в клинике... там... вот переправить – проблема... в стадии разработки лекарства через границу перевозить нельзя – контрабанда, шпионаж и т. д. Вот так...

– И ты знаешь, как их достать... и сколько это стоит?.. – неизвестно зачем, больше по инерции, поинтересовался Додик.

– Говорят, тысячу рублей...

– Тыщу? Что, мы не можем достать тыщу?

– Одна ампула...

– А надо? – прищурился Додик.

– Не меньше шести... каждые десять дней по инъекции... какая-то радиоактивная гадость...

– Что, мы не можем достать шесть тысяч?

Кто мог увидеть в этом страдающем, озабоченном выживании мире крохотный огонёк надежды? Что они, страждущие, могли рассмотреть в нём сквозь плотную завесу словоблудия серого чахоточного кардинала, смотревшего на пре-

зренную паству со стен аудиторий и залов, один из висельников политбанды... он был вечен, зол, жесток... а впрочем, не имело значения ни его лицо, ни имя... система была выстроена гениально – она саморегулировалась, и на место одного становился другой... Ещё одну закономерность можно было заметить в этом движении: каждый последующий был страшнее предыдущего...

Лысый занимался военной литературой. Говорили, что он простой, не вредный член Комиссии и почти всегда голосует «за». Ну, у каждого же могут быть враги, неприятели, скажем мягче... тогда уж нечего говорить... Чтобы не вызывать излишних литературных сравнений с «Войной и миром» Толстого или «Звездой» Казакевича, он лично, когда говорил о себе, уточнял: документальная военная литература... первое было, безусловно, справедливо, что касается второго... – это как посмотреть – с кем и чем всё же сравнивать... Номера полков, имена командиров и полководцев, количество орудий и танков, даты приказов и их шифры-литеры, названия городов, посёлков, деревушек, речек и сторон света, количество погибших и раненых... вся бухгалтерия войны вмещалась в его страницы... может, там и были ошибки, но не его, а тех документов, которые он добывал для публикации всеми правдами и неправдами в самых немислимых и «заслуживающих доверия местах».

Казалось, если взять его книгу за две стороны обложки, так, чтобы страницы веером свесились вниз, а потом потря-

сти как следует, посильнее – горы всей этой информации ссыплются с бумажных листов, не сцепленные ни фразой, ни эмоциями автора... и останутся на листах сиротливо дрожащие редкие междометия, союзы да предлоги, но потом и они обсыплются, как сладкая пудра с засохшего, чёрствого теста... так что насчёт литературы...

Достоинство того, что скапливалось под обложкой с его фамилией, было в том, что он умел добывать, знал как и добывал невероятную, недоступную, закрытую-перезакрытую информацию, и вся она была снабжена ссылками на сопутствующие документы. Только он знал, чего это стоило (часто и в прямом денежном выражении) ... но все расходы быстро окупались – его статьи, выдержки, отрывки, главы книг и т. д. печатались буквально везде и всегда имели успех.

Единственный промах Лысого был в том, что он называл себя писателем. На самом-то деле к литературному труду, к писательству он не имел никакого отношения... да ещё вдобавок был и не силён в языке, на котором творил... Писал, как и говорил, с ошибками.

Додик не знал, почему он позвонил Лысому. Знакомы они не были. Больше того, легко было предположить, что после прочтения книг друг друга желания поближе узнать автора у них, у обоих, не появилось бы.

«Заходи, когда застанешь, – хмыкнул в телефон Лысый (сразу на „ты“), – хоть сейчас. Я круглые сутки работаю – у меня мирного графика нет».

Обычные сомнения одолели Давида после часовой дороги совсем на пороге цели, и он повернул назад. «Что я скажу ему? То, что думаю? Это я уже делал – результат знаю. То, что „надо“? А что ему надо? Что мне?». Каждый вопрос, несомненно, имел множество вариантов ответа, в зависимости от различных условий и личности, но один был стопроцентно верным в нашем отечестве. Додик повернул к магазину, запасся бутылкой и сунул её во внутренний карман куртки...

– Разговор будет серьёзный... – констатировал Лысый, разглядывая Додика. – Рекогносцировка такая: дома один – жена в санатории, дочь в консерватории, – он хихикнул неожиданной рифме и мотнул головой: – Проходи.

Они устроились на кухне и несколько минут старший изучал пришедшего, буквально уставившись на него. Потом молча выставил из холодильника вполне нехолостяцкие яства: котлеты (наверное, жена наготовила перед отъездом), квашеную капусту, головку чеснока... сначала поставил рюмки, поморщился, посмотрел на Додика, убрал их и заменил маленькими гранёными стаканчиками, какими хозяйки отмеряют на рынках семечки из мешка, называя их стаканами... потом он снова уселся напротив, разлил по половинке, поднял на уровень глаз, кивнул Додику бритой головой и тут же выпил. После этого разговор возник беспрецедентно просто – два давно знакомых человека не виделись много лет и вот встретились, выпили и стали вспоминать...

о войне, конечно... которую видели с диаметрально противоположных сторон... один из-за бруствера окопа... другой из голодного барака... сыпались имена, названия, безо всякого сомнения, что сидящий напротив их знает и в курсе всего, о чём идёт речь... и хотя это было вовсе не так, ни один из них не задавал вопросов...

– Я знаю, зачем пришёл, – неожиданно переключился Лысый, – только не пойму, почему ко мне... я твоих книжек не держал, слышал только, что говорили на заседании... хочешь моё мнение? – Додик молча вертел в руках стакан. – Мало их ещё... вот в чём дело... это ж, как деньги... вступительный взнос, а они у тебя тонкие... на ладонь положишь – вниз не тянут... другие понатаסקали гору... и прошли... особенно, у кого кирпичи толстенные... ну, сам реши, кому их читать охота...

– Настоящих много не бывает... они часто фальшивые!.. – возразил Додик.

– Кого в виду имеешь? – резко и в лоб спросил Лысый...

– Всех... – Додик дерзко уставился на собеседника. – Впрочем, к чему это...

– Верно... чего других судить?! Ты считаешь, что твои – настоящие, а у другого – похуже. Это-то нормально... но как доказать? Можешь?

Додик поднял глаза на собеседника, молча вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенные вдоль страницы, исписанные кривыми строками, отодвинул всё от края

стола, опёр об него рукопись, уставился в неё и после короткой паузы, не поднимая глаз, начал читать бесстрастным ровным голосом.

«На углу улиц Некрасова и Советской желтел пустырь. Когда он образовался, никто не помнил – последнего дома у перекрёстка не было. Может, его и не строили вовсе, потому что улицы сходились под слишком острым углом и участок неправдоподобно сужался... Он был вытоптан не только посередине, где между двумя врытыми трубами натягивали рваную сетку и гоняли мяч поверх неё с одной половины очерченной площадки на другую, но и вдоль заборов. Тут по вечерам сходились парочками и компаниями мальчишки и девчонки. Трава не успевала вырасти.

Налево, по Некрасовке, тянулся ровный зелёный забор вдоль одинаковых почерневших и притихших дач старых большевиков, спрятавшихся за рядами охраняющих их сосен, а направо, по Советской, – домики, домики – вразнобой без стилия и строя, с лаем собак, помойными выплесками по углам участков и нарезанными огородами... здесь водились хорошо знакомые ребятам сады, яблочные и вишнёвые, а в летний зной – крапивно-малинные заросли вдоль заборов с пролезающими сквозь штакетник стеблями, усыпанными душистыми ягодами...

Зима тянулась долго, залезая ещё и на позднюю весну переходными экзаменами в каждом классе, но всё равно параллельно с этим начиналась прекрасная пора длинного за-

манчивого лета.

У мудрой сосны со старыми ржавыми скобами для бельевых верёвок, безжалостно вбитыми в её бок, наверное, очень давно, в её девичьем возрасте, Милка Шухман училась садиться на новенький, с толстыми невиданными шинами немецкий велосипед.

Такая «Мифа» была мечтой каждого. Милка, на голову выше всех мальчишек, заливалась крутым румянцем и никак не могла освоить подарок. Когда никого не было вокруг, я подводил велосипед к сосне, оставляя пространство, в которое протискивалась Милка. Она бралась одной рукой за скобу, подтягивалась и проносила ногу над углом утопленной, женской рамы. Теперь одну руку она клала мне на плечо, прежде чем перенести её на руль, за который держалась пока что одной левой. Я отпускал руль, когда на нём лежали две её руки, брался сзади за седло, чтобы удержать велосипед в равновесии и подтолкнуть вперёд... Это было нелегко: во-первых, я весил в два раза меньше Милки, и мне её ни за что было не удержать, а она страшно боялась, во-вторых, мне не хотелось как можно дольше убирать руку, потому что сквозь её платье я чувствовал, как она своей упругой, выступавшей за края седла попой больно и сладко прижимала мои пальцы... Но вот рывок по команде, я бегу за ускользающей радостью и то тяну на себя, то отталкиваю заваливающуюся на разные стороны и отчаянно вихляющую передним колесом машину, пока она всё же не пересиливает меня

и под режущий Милкин визг не валится на песок... Тогда я подскакиваю те полшага, на которые отстал, помогаю Милке подняться и имею право ладонью чистить её платье, беззастенчиво касаясь всех частей тела... Милка не отстраняется. Она поднимает руки, поправляет разметавшиеся волосы и поддувает их снизу резкими выдохами, направляемыми вытянутой и загнутой для этого чуть вперёд и вверх нижней губой...

– На, прокатись, – говорит мне Милка и толкает носком сандалии велосипед, но я продолжаю чистить её юбочку.

Я не хочу. Не хочу убирать свою руку, не хочу, чтобы стояла здесь одна! Мало ли кто сейчас появится и подойдёт к ней?!. Я стараюсь не разгибаться, потому что моя голова ей по плечо... Ей уже, наверное, двенадцать, а мне... будет десять... я хочу подрасти скорее... Она опускает свои руки, стяхивая мои вниз...

– Не хочу больше! Бери его, Додик, – она опять толкает «Мифу» ногой, – и пойдём до Овражков.

Мне не нравится, что она так обращается с велосипедом, и теперь очень хочется прокатиться, но от такого предложения прогуляться вдвоём до дальней деревни на опушке леса может отказаться только полный безумец, и я качу вслед за уходящей Милкой её сокровище. Она проскальзывает в свою калитку и по узкой дорожке, обсаженной смородиной, идёт к терраске. «Поставь его здесь», – говорит она и резко оборачивается. Я не успеваю затормозить, колесо

прокатывается мимо неё, а я всем лицом с ходу налетаю на её грудь! Руки разжимаются, «Мифа» с грохотом снова летит на землю, а Милка откидывается назад, ещё дальше закидывает голову, заливается смехом и держится за мои плечи, чтобы не упасть тоже... Я задышаюсь, кружится голова, и так хорошо! Я улетаю, улетаю на «Мифе» в заоблачные выси! И всё же мы вместе валимся: она назад, на спину, и утягивает меня за собой...».

Звонок буквально обрушился на них, разорвал всю картину и возникшую невыразимую ниточку, которая потянулась далеко-далеко назад, о чём Додик и не догадывался... Лысый слушал сидящего напротив мальчишку и сам уносился в детство, в свою деревню, где велосипед, не такой, конечно, а простенький, тяжеленный тульский с обычными шинами, тонкими зелёненькими полосочками по чёрному лаку на раме и ободах колёс казался невероятным и недостижимым богатством... Даже для их семьи, сначала зажиточной, а потом всё больше и больше хиревшей...

После всех законных грабежей, организованных властью, отец был уже готов бежать в дальние края, где ему, казалось, можно затаиться и переждать смутные времена... но слишком долго раздумывал и не успел... После его ареста мама сильно болела, и смерть младшего брата от бескормицы и отсутствия денег на лекарства подкосила её... Старший ушёл ещё раньше, до всех трагических событий в их семье, и о нём не было ни слуха... А он, Колька-бегун (прозвали его так,

потому что он всегда не ходил, а торопился вприпрыжку), продал за гроши дом и подался в город, учеником на завод. Там вскоре записался с великим трудом (сына раскулаченного никуда не брали) в аэроклуб... он мечтал стать пилотом... Вырваться на простор из этой жизни...

Тут звонок прервал его воспоминания.

– А... Чёрт! – досадливо поднялся хозяин. – Наверное, дочка... – и уже из прихожей послышался его голос: – Садись, послушай...

– Ладно, – в проёме кухни появилась девушка, будто с обложки журнала. – Я мешать не буду, – она тряхнула копной ржаных волос, чтобы они улеглись на место. – Меня зовут Вера, – обратилась она к Додику, поставила чайник на газ и уселась напротив у стенки, зажав коленями сложенные ладошками руки... Чувствовалось, что происходящее привычно для этой семьи и этой обвешанной шкафчиками кухни...

– Может, в другой раз... у меня же ещё не закончено... – Додик смотрел без кокетства и неприязни...

– А вы читайте... То, что напечатано, мы и сами можем... Я не по этой части, конечно... но вы пишете для всех, правда?! Так что читайте... не стесняйтесь...

– Вам будет интересно?

– Не знаю... послушать хочу...

– Читай, – поддержал Лысый. – Его Давид зовут! – подсказал он дочери. – Как нашего кузнеца... Помнишь, я тебе рассказывал... Он, когда злился, – обратился он к Додику, –

для разрядки прутья железные узлом вязал... А потом, когда отходил – развязать не мог! Переплавлять их отправлял!.. – и он засмеялся неожиданно радостно... – Читай! – скомандовал он по привычке, как в эскадрилье...

«То, что у каждого из девчонок и мальчишек было прозвище – не удивительно... так водится. Но это происходило во многом оттого, что взрослые между собой за глаза тоже пользовались таким приёмом. И если старую толстющую продавщицу Соньку из палатки на станции звали «ан алте бхейме», то это было удивительно точно подмечено: «старая корова»... Причём произносили это, когда были недовольны ею...

Милкин отец был «Пурец», потому что вёл себя большим баринном, а её мамаша, в обиходе «Асе-хунт», т. е. Ася-собака, всегда и всех облаивала, она на все действия и требования мужа произносила, прежде чем шевельнуть хоть пальцем: «Эйх мир а пурец», что выражало крайнюю степень презрения – «тоже мне барин». Она была старше своего суженого, и неизвестно, его ли дочь была Милка, хотя длиной носа и румянцем на щеках они были очень похожи. Милка родилась ровно через семь месяцев после женитьбы родителей... а если отсчитать назад, то получалось, что Ася и Герш нарушили все законы, потому что в предпасхальный пост не годится заниматься этим сладким делом, от которого потом пухнут животы и появляются на свет дети».

– А ты что, еврейский язык знаешь? – неожиданно пре-

рвал чтение Лысый. Додик не сразу сообразил, о чём его спрашивают, трудно перебираясь из одного времени в другое...

– Знаю!.. Конечно... не очень... – поправился он.

– И читать можешь?

– Могу... – удивился Додик...

– Завидую! – мечтательно протянул Лысый. – А я кроме «хенде хох» да «капут» ни хрена за четыре года там не выучил...

– Николай Иваныч! Не перебивай, пожалуйста! Вам чаю? – Вера поставила чашки на стол и снова уселась... – Читайте... интересно...

Додик опустил глаза в рукопись.

«Баловал отец Милку необыкновенно... Она же пользовалась этим, только когда чего-нибудь очень... ну, очень хотела... И отец все просьбы выполнял, не считаясь ни со временем, ни с деньгами...

Исчез он совершенно неожиданно и причитания Аси-хунт были слышны на полпосёлка... Она припомнила все его грехи и всех женщин, на которых он хоть раз имел несчастье посмотреть или чьё имя произнёс при ней. Конечно, он был жизнелюб и красавец, и денежки у него водились, раз он мог ночами дуться в карты и никогда не унывать от проигрыша, а дочери покупать такие велосипеды.

Всю ночь Ася проголосила, утром поплелась в милицию. И вышла оттуда, прикрывая рот платком и опустив глаза...

Как раз только-только заговорили о кампании борьбы с «беспачпортными» космополитами, и то, что человека забрали, ни для кого не было чем-то невероятным... Но люди же всегда всё знают, и Ханэ-ретах (её прозвали Хана-редька, потому что она на всё, что ни происходило, говорила. «Вос рейдт ойх?!» («О чём вы говорите?!»)), а знала она много, и раньше всех, но получалось сквозь щербатые зубы: ретах! – редька!) ... так вот, Хана совершенно серьёзно сказала, что он пошёл по другой статье, за махинации! А с чего же он так жил, как вы думаете? Брал у государства сырьё, делал ботики (и прекрасные, надо сказать, дай ему Б-г здоровья), а продавал их (по очень хорошей цене) как свои в палатках на станциях вдоль всей железной дороги и, видимо, с кем-то не поделился, не то что с государством...

Может быть, и так, кто знает?! Но местные решили по-другому, что замели его, как еврея, в очередную страшную мясорубку... «Мало вас Гитлер поубывав! – орал вечно пьяный бывший танкист без ног на роликах у станции. – Сталин вас всех теперь уберёт! Это из-за вас я без ног остался, пархатые!».

Но неожиданно, меньше чем через год, Герш-Пурец появился в посёлке и гордо прошёл до дома, и оттуда опять понеслись, но теперь радостные, вопли! И все вокруг запутались вовсе: за что сидел, каким образом попал под амнистию, были даже такие, что высказали предположение, что он вовсе не еврей, а просто похож!!!

Милка вызвала меня из дома, позвонив велосипедным двуголосым колокольчиком... Она уже давно постигла хитрости езды и гоняла на своей «Мифе» в любую непогоду.

– Додик, сколько тебе лет? – спросила она в лоб, и я даже забыл, сколько мне на самом деле.

– А что? – поинтересовался я вопросом на вопрос прежде, чем ответить, как делают все евреи. – Одиннадцать, – приврл я... хотя до этого было много больше полугода...

– Э!.. – сокрушённо вздохнула Милка. – Ты мой лучший друг, конечно, и единственный... но ты мне не годишься.

– Почему? – обиделся я. – Скажи, почему...

Милка оценивающе уставилась на меня...

– Потому что маленький!

– Ну, и что... разве дружат по росту!

– При чём тут рост? Ну, при чём? Ты что, не видел Гетю? Да у неё муж, этот задрипанный Шимек-шмаровоз, чуть выше пояса ей! И ничего – живут! И Венька с Лизкой... У них хоть и геротанные дети, а нормального роста...

– Ты про что, Милка? – не понял я...

– Ты маленький... тебя очень долго ждать, а мне сейчас надо...

– Что сейчас? – у меня захолонуло сердце...

– Сейчас! Чтобы кто-нибудь меня украл из дома и женился на мне...

Я тут же представил, как всё это происходит, как Милку, завёрнутую в перину, вытаскивают через окно, бросают в ку-

зов полуторки и гонят её со страшной скоростью к переезду, а там закрыт шлагбаум, и уже свистит электричка на подходе, но машина не останавливается и, как в кино, ломает пологую палку, торчащую поперёк дороги, и проносится, буквально перед носом ошавшего от испуга машиниста с вытаращенными глазами, на другую сторону, а там шоссе, и поминай как звали!.. Вольная жизнь! Неосвоенные просторы свободной Родины... Мне стало так обидно, что я еле выдавил:

– А я?..

– Ну, что ты, Додик? – возмутилась Милка. – Тебя ждать и ждать! Я умру дома, ты что, не понимаешь?

– Понимаю, – откликнулся я, чтобы выразить сочувствие, хотя на самом деле понимал, что положение моё совершенно безнадежно...

– Я уже всё рассчитала, – стала объяснять Милка. – Я потом, когда ты вырастешь, с тем мужем разведусь, и мы с тобой поженимся! Понял? – я молчал. – Ты что, возражаешь?

– Да, – тут я ответил немедленно.

– А как же мне быть? – спросила Милка совершенно взрослому.

– Можно убежать... – предположил я. – Вдвоём. Уехать к тётке... ты же говорила, что у тебя есть тётка в Чите или Биробиджане...

– Да, – сказала Милка. – Тётка есть. Только меня вернут с милицией обратно... а мне надо навсегда. Понимаешь? Я

так решила... А ты мне всё из книжек предлагаешь... потому что ещё маленький...».

Роман Веры и Додика начался в тот же вечер – безо всяких предисловий и размышлений. Вера влюбилась. С ней это происходило уже не первый раз, а Додик даже не знал, что так бывает, хотя был на треть старше её... Они бродили, если некуда было деться, по улицам, целуясь до исступления. Иногда им везло укрыться днём в общежитии часа на два, обманув с помощью друзей бдительность комендантши... Потом они брели в изнеможении в Большой зал, втискивались в угол во втором амфитеатре и, сладко прижавшись боками друг к другу, блаженно плыли неведомо куда, отдаваясь стихии мелодий...

Давид работал каждый день. Вставал рано-рано, когда только отдельные звуки нарушают тишину, и оттого она становится ещё плотнее. Когда накапливалось достаточное количество страниц, непременно читал их Вере, потому что теперь получалось так, что, пока не поделится с ней, – он не мог двинуться дальше... ни на строчку...

Вся эта история с приёмом совсем отодвинулась далеко от него, и он часто ненароком вспоминал слова Зверского, сказанные в тот, самый горячий и болезненный для него, день, и усмехался их грубой правде...

«А если бы не пролетел на приёме – и не встретились бы...» – всё время вертелось у него в голове.

Они оба догадывались, что её родители неодобрительно относятся к их связи, но старались не выяснять, почему, и не говорить об этом. Часто люди клянутся друг другу, чтобы убедить самих себя, что это именно так, что любовь их вечна, что навсегда... а вечными оказывались только звёзды, которые слышали это... Они же действительно любили друг друга безоглядно и безотчётно, как случилось не однажды до них с тех самых пор, как Б-г сотворил это вечное чувство. И вечно оно потому, что в него, как в бесконечную ко-су, вплетаются всё новые и новые нити любви... Расходятся, стареют, умирают люди, но истинное, высокое, безоглядное чувство, которое они испытали, остаётся, и для того, чтобы так случилось, не надо ничего делать специально, потому что это естественно существует в мире, как восход и закат, как великая пора цветения и увядания, как сами прекрасные бу-шующие цветы...

Однажды Вера передала Додику просьбу отца зайти, поговорить. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись, но и на этот раз не стали обсуждать приглашение и делать какие-либо предположения... Вера заканчивала только третий курс, и если бы они заикнулись о женитьбе!..

Лысый снова пригласил Додика на кухню, что, впрочем, было знаком высшего доверия и расположения – так посту-пали только с близкими и друзьями. Варвара Петровна, как всегда, поджав губы, поздоровалась и ушла к себе, а дочери отец сказал:

– У нас, Вера, разговор мужской! Не обижайся! – и она тоже ушла... Лысый дипломатничать не умел и заявил об этом прямо.

– Знаешь, Давид, я тебе завидую!

Такое вступление, конечно, понравится не могло... «Сейчас начнёт, что он воевал, что их поколение спасло нас и весь мир, и что теперь перед нами поэтому все дороги... а мы вот вместо того, чтобы... а Вере надо играть и играть, потому что педагог говорит, что она такая способная, и он её на международную арену вывести хочет...». Он так незаметно далеко и стремительно продвинулся в мыслях по этой дороге, что даже не сразу отреагировал на слова хозяина...

– Да ты где, Давид? Ты меня не слышишь!

– Простите! Вы же знаете сами... мы же все улетаем иногда в другое измерение... как накатит... – а сам подумал: «Ну, только спокойно, спокойно... он же отец! Спокойно...».

– Ты мне, знаешь, очень нужен... – Давид насторожился. – Даже не предполагаешь...

– Ну... наверное... конечно...

– Нет, погоди... только ты меня пойми правильно и... ну, не обижайся, что ли... – Давид молчал. – Я тебе хочу сделать предложение!

«Ого, – усмехнулся про себя Додик, – уже отцы делают вместо женихов своим дочерям за них предложения!».

– У меня сейчас много заказов на книги. Юбилей ско-

ро. Ну, юбилей Победы, значит, и все хотят о своих подвигах рассказать, понимаешь? – Давид ничего уже не понимал и даже не представлял, о чём идёт речь и какое это имеет отношение к ним с Верой. – Ну, короче говоря, все, конечно, проявляли героизм на войне, как говорится, – это массовое явление было... потому и победили...

Додик внутренне усмехнулся: «Угадал всё же! Понесло. Можно бы и не так пафосно формулировать», но не подал вида...

– ...мне одному не справиться... понимаешь... не успеваю... Ну, а мы же не чужие всё же люди, как я понимаю, друг другу-то, вот я и решил сделать тебе такое предложение, чтобы, как говорится, объединить усилия...

Додик тупо смотрел на Лысого. Он действительно всё ещё никак не мог переключиться и вникнуть в его слова: «предложение... помочь... не чужие...». Ну, конечно, не чужие... но что значит «помочь»?!

– Я, понимаешь ли, данные все, конечно, обеспечу, но... тут уж дивизии, даже эскадрильи решили, чтоб у каждого подразделения, понимаешь, была книга о них... понимаешь? Ферштеен зи?! Во, видал! – удивился сам Лысый. – Никогда с войны не вспоминал...

– Так вы что... – наконец вернулся в реальность Додик. – Меня в компаньоны зовёте?

– Именно, – обрадовался Лысый. – Именно! И подзаработашь немножко – это ж не помешает?!

– Конечно, – согласился Додик, – конечно!.. Только как это всё, значит, выглядеть будет?.. Я что-то не понимаю... Ну, скажем, если бы это просто какой генерал или маршал воспоминания свои решил увековечить, а я литературную запись осуществил... но... ну, здесь-то как?.. Как это: литературная запись писателя у писателя?.. Или...

– А тебе надо обязательно, чтоб твоё имя было на обложке?

– Николай Иванович, – Додик опустил голову и уставился в пол, он чувствовал, что начинает закипать. – Николай Иванович, вам, что ли, раба надо? Негра?.. Без имени, без разбора... У нас же совсем разный стиль... да и взгляд на события разный... Это нормально... у каждого свой взгляд! Но это же книга...

– Так я и думал...

– Что? – перебил Додик.

– А что ты умничать начнёшь... в бутылку полезешь, проще говоря... Давай выпьем лучше... а то тут, и правда, без бутылки не разберёшься... – он разлил, по обыкновению поднял стаканчик на уровень носа, посмотрел в глаза собеседнику, кивнул головой, приглашая: делай, как я, – и тут же выпил...

Серия оказалась продолжительной... Они не чокались, отгрызали по куску хрустящего солёного огурчика собственного Варвары Петровны засола и, вздыхая и чему-то огорчаясь, повторяли... Хозяйка почуяла большой натиск и по-

явилась на кухне... Мгновенно на столе выросли серьёзные закуски, тарелки с вилками, пахучий, подогретый в духовке хлеб... И, когда она снова удалилась по жесту хозяина, он заговорил убеждённо, даже вдохновенно:

– Ты пойми, это же не каждый год бывает такое! Юбилей вообще дело тонкое, а повод замечательный. Во всех отношениях! Люди хотят книгу! Надо их удовлетворить! И начальство приветствует! И подзаработать неплохо! И из плана не выкинут, и в ногах у редактора, чтоб издали, валяться не надо! Ну, по всем статьям! Теперь дальше, смотри: допустим, ты такую книгу захочешь выпустить, а? Ну, подумай сам, это какие надо механизмы привести в движение, чтобы эту книгу продвинуть и осуществить... да я уж и не говорю об архивах и всяких данных... Многие хотят, а о них нигде ни строчки... в лучшем случае приказы да донесения – сухая цифирь... а ни статей в фронтовой прессе, ни фактов главных в подробностях, ни интервью, ни фотографий... смекаешь? А я? Всё предоставляю, и о плане у тебя забот никаких, и машинистку тебе подгонять не надо, и рукопись править, даже в бухгалтерии расписываться – я тебе домой денежки принесу... смекаешь? Верке вон отдам, если хошь?! И ещё, знаешь что... это я тебе как близкому человеку хочу сказать... не то что по секрету, но так... знаешь... между нами... это великое дело! Эти книги историю сохраняют, людей из небытия достают... особенно, которые погибшие, которые не успели в жизни ничего... За Родину, как говорит-

ся... великое дело... а ведь многие нос воротят... считают, что это низший сорт, мол... что это вовсе не проза, а так... А что так? Что? Сказать не могут. Но нос воротят. Так вот, чтоб от тебя-то нос не воротили, тебе тоже хорошо без имени, без фамилии обойтись, – он замолчал и опустил голову.

Додик молча смотрел в пол... Потом поднял глаза и заговорил тихо-тихо...

– Дело, действительно, великое!..

– Вот! – обрадовался Лысый...

– У меня там брат остался... мальчишка совсем... в первом бою... Слава Б-гу, в общей могиле разыскали... И отец четыре года от звонка до звонка... великое дело они сделали... Только надо, чтоб о нём и писали так же... великие чтобы...

– Ты думаешь, оскорбишь этим меня – нет! Ты думаешь, я простачок такой... со всеми так разговариваю... а сам в Толстые мечу... А ты оглянись вокруг – покажи мне хоть одного Толстого! Молчишь?.. Потому что, извини, ещё жизни настоящей не нюхал... Заставлять не буду... а дураком сам себя потом назовёшь! Попомни...

Вера успевала всё – понятие «время» она использовала по-своему, оно означало – что в этот отрезок жизни что-то произошло по её воле, всё остальное – пустота. Модно одеться, сидеть за роялем до тех пор, пока пальцы независимо от неё воспроизводили именно то, что она слышала внутри

себя... Иногда ей казалось, что нотные линейки протягиваются куда-то далеко, далеко за край клавира, и она скользит по ним, как циркачка по наклонной, сильно натянутой проволоке, и уносится вниз, вниз, в сумрак сиреневого цвета, и движение её бесконечно... Знакомые лица мелькают впереди, кажется, она сейчас врежется в них, сорвётся и разобьётся насмерть или исчезнет в бездне, но лица проносятся по сторонам, и она не успевает ни затормозить своего движения, ни произнести хоть слово... Ей хочется, необходимо до спазма в горле, до стеснения в груди спросить их о чём-то важном, но вдруг её дорога начинает подниматься снова вверх, и движение замедляется, а свет приливает, он становится нестерпимо ярким, она совсем зажмуривается, и тут до неё долетают звуки, которые она перегнала в своём стремительном необъяснимом движении. Когда эти звуки замолкают, она уже не может отличить их от тех, что возникли под её пальцами... Ничто не удостоверит её невидимого броска, и только полное бессилье и распирающая радость убеждают её, что она была там. Была. И никакого счастья больше этого нет. Она не сомневалась...

У неё хватало времени быть с Додиком тоже до тех пор, пока она не переполнялась, и тогда отрывалась от него, как от сосуда после утоления мучительной жажды...

– Ты не умеешь жить как я...

– Не умею, – согласился Додик.

– Мы с тобой такие разные – ужас просто... а после разго-

вора с отцом ты совсем стал варёным... Может быть, я тебе надоела?..

– Как тебе это удаётся?

– Что?

– Играть такую великую музыку и задавать такие пошлые вопросы...

– Пошлые? – Вера отстранилась.

– Да. Ты не предполагаешь, что у меня могут быть свои, отдельные от тебя неприятности?

– Расскажи.

– Ты права. Иногда твоя прямолинейность так основательна, что всё становится просто... У моего друга умирает жена... ей сорок...

– Надо хорошую больницу?..

– Нет. У неё лейкемия. Над ней, когда была ребёнком, немцы в лагере делали опыты... Надо лекарство...

– А оно существует? Додик, почему ты варёный? Надо лекарство – надо достать! Оно существует?

– Лёнька говорит, там есть... Тысяча рублей ампула...

– Это хорошие деньги... и этот Лёнька знает, как это сделать? У него там друзья, родственники... «есть родственники за границей»?

– Он хотел увезти её в Израиль... там могли спасти... Но ему сказали, что не успеет... поехать на лечение, даже если деньги найдёт – не пустят... Уехать совсем – будет сидеть в отказе и вообще без денег и без работы... Он послушался,

остался, не рискнул попробовать – и вот...

– Ты можешь ему позвонить? Сейчас? И дай мне трубку... или поехали к нему... он далеко живёт? – она сыпала вопросы один за другим и лишь иногда машинально взглядывала на часы...

– Ты думаешь, мы ему сможем помочь?

– Мы можем попробовать, Додик... Я не люблю две вещи: когда ты сутулишься – распрямись! – и когда у тебя отрастает щетина. Она рыжая... и ты сразу становишься старым евреем...

Книга застопорилась. Ночами он просыпался и не мог понять, отчего? В закрытых глазах вдруг начинала бежать яркая строчка, которую он читал, как чужую, и только потом догадывался, что именно от неё проснулся – она торопила записать её. Некоторое время он колебался, убеждал себя, что такое забыть невозможно, но знал, что это неправда и утром ему не удастся вспомнить не только слова, но даже о чём шла речь. Это было состояние сна наяву... возникновение другого мира, в котором он присутствовал, но вовсе не обязательно в качестве материального тела... присутствовал, ощущал, знал, что происходит и почему.... Но всё это принадлежало другим – и мысли, и поступки, и слова, и страхи, и волнения... и в то же время это было всё его. Только его и без него существовать не могло... Он потянулся к листу бумаги... ночью нечего было и мечтать стучать на машинке – соседи бы вызвали милицию немедленно, им вообще не нравилось, что

он сидит дома и не бежит к восьми часам на работу... Наверное, их жалобы не раз проверяли... но его пока ни разу не вызывали «куда надо».

– Я хотела тебя спросить, Додик, что стало с Милкой? – Вера притиснулась к нему и заглянула в глаза.

– Какой Милкой?

– У тебя их несколько было? Тогда с той, которую ты учил кататься на велосипеде. И которой так сладко подсовывал под задницу руку...

– А ты веришь, что, если я пишу от первого лица, это обязательно я? И ревнуешь меня к прошлому? К прошлому ревновать нельзя, Вера... я же не спрашиваю: сколько у тебя было мужчин и когда ты это успела?..

– Не хочу с тобой ссориться... А ревновать можно, по моему, ко всему на свете, и я не верю, что есть неревнивые пары... Просто мне интересно, что с ней стало... не может быть, чтобы ты написал так здорово про несуществующего человека... Не потому, что она совсем как живая, но так можно писать только про то, что пережил... что любил... и уже не разлюбишь... Поэтому я не читаю наши современные книги – они все такие правильные, и авторы знают, что можно, и всегда ясно, кто победит...

– Слушай, как это вышло: ты в такой праведной семье живёшь, а всё время смотришь на запад?

– Праведной?! Да... должно бы быть наоборот... ты с моим папочкой очень похожи... только я не читаю его книги...

мне неинтересно... хоть они пока что нас и кормят... а смотрю туда, куда движется солнце, понимаешь? Нет?.. Здесь я хоть с отличием «консу» закончу, что мне светит? В лучшем случае – место преподавателя в хорошей музыкальной школе... в училище уже не пробиться, знаешь, сколько пианистов навывпускали... Ещё... два сольных концерта в год в задрипанном ДК на окраине с щербатой сценой и разбитым роялем, или, пожалуйста – мотаться с филармонией по городам и весям за две ставки за концерт, жить в барачных гостиницах и таскать по поездам с собой полные сумки консервов и кипятильник, чтобы не подохнуть с голоду и сэкономить деньги...

– Закрывать глаза – послушать: тебе лет сорок... когда ты успела?.. Хорошо, что сегодня не тот год на дворе... не сажают...

– Хорошо. И год не тот, и день – не тот... а я хочу жить по-человечески, понимаешь?! А этого всё не видно...

– И что же...

– У нас в классе шесть человек: пять – евреи, и я – по отцу русская, а по матери – казачка... И я им завидую...

– Завидуешь? Чему? Тому, что с их семьями сделали Гитлер и Сталин? Ты не спрашивала их об этом? Им наверняка есть что порассказать, если не побоятся... Или ты завидуешь тому, что сейчас происходит, ты не знаешь, почему я за бортом болтаюсь и никак не могу взобраться на палубу?!

– Знаю. Потому что не на ту палубу карабкаешься! По-

нял? Она не нужна тебе... просто... даже наоборот!.. Ты знаешь, что такое этот Союз, в который ты так стремишься... Я слышу иногда, что мой папочка оттуда приносит... А я этим мальчишкам завидую потому, что они все могут хотя бы попытаться жить по-человечески... устроить свою судьбу... и не зависеть от людишек, которые диез от бемоля не отличают... Или надо смириться, стать среднестатистической единицей, если выдержишь, а нет – так спиться или найти верёвку...

– Слушай, сколько тебе всё же лет?! Ты из того поколения, на которое не падали бомбы, а я помню это, понимаешь... И представь себе, что можно по-другому смотреть на жизнь... не так потребительски, что ли, не как собственник-единоличник...

– Вот. Ты потому туда и лезешь, что говоришь их словами даже. А у меня это от деда, наверно... Отец не знает даже, где его расстреляли... и ты мне ничего не рассказываешь о своих родителях...

– Зачем? Они уцелели и тоже считали, что я ненормальный, необъяснимый, на рожон лезу... Из всех творческих профессий больше всего писателей пострадало... а их поколению досталось больше всех... Они вот, например, ни за что не хотят... хоть мамы и нет уже... не хотят, чтобы я женился на гойке... Ты хоть знаешь, что это такое?

– Я ж тебе говорю, что у нас в классе одни евреи... и профессор тоже... Они уже давно смеются надо мной, что я

объевреилась... и правда – теперь ты!.. Тогда ищи свою Милку... по крайней мере, одним барьером меньше...

– Мы все мечтаем об одном и заняты одним делом – вырваться из своего круга... просто Милка стала раньше всех мечтать об этом – рвалась, как могла, из своей семьи, из гетто еврейского. Ты тоже мечтаешь убежать оттуда, что называется Родиной, я, как ты говоришь, карабкаюсь на какую-то палубу, чтобы подняться до круга, где, мне кажется, смогу получить больше свободы... мир стронулся с места и разлетается со скоростью осколков после взрыва, и никогда им потом не собраться вместе! И кого ни спроси – всем плохо именно в том месте, где они находятся. Все рвутся, стремятся куда-то, достигают и начинают новую попытку, и никто не думает, что повторяет опять то, что прошёл, – какое-то безумие в разделённом плотинами мире, сквозь которые мы все просачиваемся, как вода в половодье...

– Додик! Ты это что: просто сейчас говоришь... или ты уже написал заранее... может, давно... или даже уже напечатал, или читаешь чьи-то страницы?..

– Если бы я мог опубликовать это – я бы никуда не рвался, ни на какие палубы... Я всё время думаю об этом. Ремесло писателя, как это ни парадоксально, вовсе не писать, а думать... но больше я ничего не умею... И там, куда ты смотришь, писатель этот – тот, кто публикует романы, стихи, рассказы...

– А здесь?

– Тот, у кого в кармане корочки, от которых довольно дурно пахнет...

Серый позвонил через два дня: «Приходи – есть для тебя подарок». Додик шёл знакомой дорогой в особнячок на углу Никитской. Земля уже подсыхала, и в воздухе носилась первая летняя пыль, ещё не прибитая дождями. Он уселся на скамейку в углу двора и сделал вид, что читает газету, отгородившись от окон. «Как в дурном детективе», – усмехнулся он сам себе. Серый прервал его мысли. Он прошёл мимо, делая вид, что ему нет никакого дела до человека, сидящего на скамейке, и бросил на ходу:

– Давай за мной!

Додик пропустил его на несколько шагов вперёд, медленно сложил газету и двинулся следом.

– Что за ерунда, в самом деле, – посетовал он, нагоняя товарища.

– Хорошая ерунда! Иванов на два месяца на пленэр подался и оставил ключи, но я... как благородный рыцарь, зная, как страдает и мучается мой друг вот уж какую неделю, немедленно вызвал его и...

– Что, правда, ключи у тебя?

– Чёрт возьми, Додик! Ну, никакой романтики... поэтому вы и пишете такие постные книги про литейку и борьбу с комбайном...

– Ладно... Румяный критик мой... не продолжай – он ждёт нас...

Борис Иванов был художником, которому в жизни не пришлось задуматься, кем быть. Он вырос в большом селе и ещё в детстве зарабатывал тем, что у привокзальной блинной на клочках обёрточной бумаги мог запросто изобразить любого в смешном, но не обидном виде за те несколько минут, что стоял поезд. Сегодня он даже припомнить не мог, как это всё началось и кто обнаружил у него такие способности. Неодолимая тяга к рисованию погнала его в районный город, где жила тётка. Муж её Егор, сам равнодушный к этой, как считали окружающие, забаве, и посоветовал ему – не терять тут зря времени, а то завянет, как он сам, и погубит свой талант, а идти прямо в Москву. Там хоть слезам и не верят, а наверняка найдутся люди, которые сумеют оценить способности парня. Так оно и вышло, причём настолько сказочно и неожиданно, что в тот же самый день поклялся Борька на кресте нерушимой клятвой никогда не забыть доброты, проявленной к нему, и всегда, как только может, платить за неё, причём всем, даже совсем незнакомым, чтобы она пришла к ним так же, как к нему, вернувшись невесть от кого по кругу. Мелисса Илларионовна, «из бывших», преподавала иностранный язык в «художественном» институте, куда Иванов наконец пришёл со своим семиклассным аттестатом, да и в неурочное время – приём был давно закончен. Мелисса только взглянула на его рисунки, впалые щёки и худую одежонку и велела следовать за ней. После всех передраг, потерь и утеснений она жила одиноко в арбатской

коммуналке, куда и привела мальчишку, каких давно ей видеть не приводилось, под неодобрительными взглядами соседей. Он быстро освоил правила коммунистического быта – вставал ни свет ни заря, чтобы не раздражать жильцов, удлиняя очередь в «места общего пользования». За год занятий в художественной школе он наработал такой портфолио (хотя до тех пор и не слыхивал такого слова), что его готовы были, несмотря на малолетство, принять в Суриковский даже без аттестата, но война смешала все планы... В эвакуацию они не поехали, домой он возвращаться не захотел, чтобы не быть обузой матери, а на фронт удрать ему не удалось... И тогда он стал ходить по госпиталям вместе с бригадами артистов и рисовать раненым их портреты... для отправки домой...

Один раненый очень им заинтересовался, попросил приготовить ему несколько рисунков и портретов солдат, расспрашивал, разговаривал, адрес вписал в свой блокнот... и однажды вытащила Мелисса толстый конверт из ящика с добавлением в адресе: «(Б. Иванову лично)». Оказалась в пакете вырезанная из газеты страница с Борькиными рисунками и статьёй о нём. А на маленькой страничке из блокнота приписка. «Спасибо тебе, Борис Иванов. Разыщи меня после войны, когда станешь знаменитым художником!...». И всё. И подпись. Ни адреса... ни телефона...

Знаменитым Борька стал незаметно, ещё до того, как диплом получил о высшем образовании. Всё шло ему теперь

в плюс: и происхождение, и нищенское голодное детство, и статья с рисунками, которую приложил он к анкете, когда поступал учиться, и, конечно, фамилия... Да, всё пригодилось... только те, кто считал его плюсы, за скобки выносили, что талантлив он был стихийно, как говорили художники, «от сохи» был. Стожок какой-нибудь, почерневший за зиму по колено в тающем мартовском снеге, стоящий посреди холста, – и всё. А от него так весной пахнет, что пальто распахнуть хочется... Подсолнухи, к светящемуся вечернему окну повернувшиеся, за какой надобностью, неизвестно, может, из любопытства, а может, от тоски неизбывной в тёмной ночи...

После того, как сделал он свою первую книжку, случайно перепавшую ему от педагога, когда тот не успевал к издательскому сроку, поползла о нём молва потихоньку. Стали издательства приглашать – пошла работа, а за ней деньги, слава... удача... В Союз приняли за глаза, возраст его комсомольский лимит свой выбрал, и стали его звать в передовой отряд рабочего класса, а он и не сопротивлялся. Судьба сама вела его – а он прислушивался и шёл. Простачком удачливым слыл, да зависть ходила за ним с вилами острыми... а он прикидывался дурачком Емелей... дураку всегда везёт в сказке русской... почему?..

А в мастерской, когда никого не было, доставал он свою гармошку с латанными-перелатанными мехами и свистящую «на два зуба», как говорил сам Борька...

«Ой, да с милой Клавою  
Я по морю плаваю,  
А причалить не могу,  
С... палкой муж на берегу!..»

– пел он в голос, будто голосил... по кому? по чему? Может быть, по тому голодному и нищему времени, когда был он не Борис Семёныч Иванов, а просто Борька?.. Нет. Он любил до боли то время, но ненавидел его... и никогда не забывал тот унижительный безысходный голод... руки матери в трещинах и коросте и тихий шёпот подслушанной молитвы: «Прости, сынок, не такой я жизни тебе хотела».

Клятву свою он берёт свято. Мать свою ублажал, как мог, в город она уезжать не захотела. Всё ждала, что женится сын, и станет она забирать на лето внука к себе в деревню, а что лучше места нет на свете – нисколько не сомневалась.

А Борька Иванов, может, и имел детей, да не знал об этом. Много клятв и сладких стонов слышала его мастерская, но постоянно жила в ней только одна женщина – Муза. Он называл её Нюська...

«Глянь, что мы с Нюської сотворили», – приговаривал он, показывая другу новую работу... И если в ответ слышал похвалу, как чаще всего и бывало, широко улыбался и объяснял: «С Нюської не забалуешь! Знаешь, у нас строго!..».

«Живи, – сказал он Давиду просто. – Мне Серый объяснил всё. Только курить ни боже мой! Не куришь? Ну, тогда

всё в порядке. А она? А то теперь девки так смолят, что дышать нечем... а я потом работать не могу... и Нюська сердится... очень не любит!».

Варвара Петровна не летала на ночном бомбардировщике, не служила радисткой в тылу врага, не была боевой подругой героя, не боролась с комбайном на трудовых полях страны и не толкала ядро на всесоюзной спартакиаде. Она своё семейное счастье строила расчётливо и планомерно. Додик в этих планах никак не фигурировал, и то, что дочь оставила записку, чтобы родители не волновались, не имело никакого значения. Вся эта скоротечная любовь дочери была совершенной глупостью, по её мнению. Мало того, что она наверняка стала хуже играть и могла провалить отборочные к конкурсу, замаячившее впереди замужество ставило вообще под сомнение всю карьеру дочери, потому что, выйдя за еврея, она становилась невыездной.

Но чем больше она думала об этом, тем яснее понимала, что дочь, сама того не зная, повторяет буквально в точности путь своей матери. Девочка из благополучной семьи профессора-историка, сделавшего блестящую карьеру, миновавшего все чистки в страшные годы, она, которой прочили такое замечательное безоблачное будущее под крылом своего родителя, вдруг совершенно необъяснимо для всех свернула с намеченного курса.

Казалось, всё так просто: диплом – аспирантура – диссер-

тация... столько скрытых ресурсов в процветающем в государстве социализме, который изучал и обосновывал отец... неисчерпаемые возможности! Но она отреклась от шаблонных слов, от намеченной карьеры, обеспеченного уважаемого положения, и это когда отец сделал новый рывок в членкоры и метил выше... Своенравная любимица Варвара буквально удрала, как начитавшаяся романов девчонка, к молодому подполковнику-лётчику в военный городок, где после победы стоял их авиакорпус... Даже диплом не защитила! И всё – никакие увещевания, даже просьбы, порой весьма унижительные, и отца, и матери... «Надоело мне!» – грубо обрывала она их. И невозможно было понять, что же на самом деле надоело. Мать, профессорская жена, грозила страшными карами – у неё благодаря положению были большие связи. Отец тихо поддакивал, а втайне даже гордился характером дочери... всегда мечтал иметь сына, который пойдёт по его пути – продолжит дело. Он свято верил в то, что делает, что причастен к великим свершениям... И даже то, что карающий меч диктатуры пролетариата, которой он служит, миновал его, явно подтверждало правильность его пути вообще и его личного творчества в частности...

Проще сказать, обычное пошлое существование, сытое и с полузакрытыми глазами...

Варвара научилась готовить, научилась потихоньку вселять в мужа чувство превосходства над окружающими и учила его, как это делать... Он понемножку под её руководством

стал печататься, начиная с армейской многотиражки, а она использовала свои связи и протекции... За статьями пошли брошюры, потом книжка... Грамотная, не вызывающая зависти, проходная по всем статьям, защищённая от критики своей тематикой и дуто неопровержимой нужностью...

Варвара была человеком небесталанным, начитанным и на вдруг появившийся вопрос: «А зачем я всё это сделала?» – толком ответить себе не могла... Конечно, при её привлекательности и положении она бы составила себе куда более выгодную партию... Сколько друзей отца, его аспирантов, даже студентов бросали на неё недвусмысленные взгляды и старались лишний раз заглянуть к профессору домой то ли для консультации, то ли занести материалы, подписать статью... И она ещё в раннем возрасте, почти девчонкой, уже чувствовала свою женскую, ей самой неведомо огромную силу... а вот как вышло! Раз!..

Но красив был, хорош Николай Иванович! Настоящий мужчина! Не представлялся, не говорил надоевшими дома фразами, не обещал никакого будущего и смотрел на неё так восхищённо-откровенно, что она не устояла!.. «Ну, и что? – думала она уже много позже. – Дура потому что! Замуж-то чего рванула... что, из этого гарнизона электричка не ходила? Или больше в мире мужчин не осталось?». Но в то же время она почувствовала, что не хочет ничего менять. Больше того, не будет. А когда, прощённая родителями, вернулась в столицу и протолкнула мужа, уже переставшего ле-

тать, но ещё служившего (теперь в министерстве), в Союз писателей, – стала творить новую семейную жизнь. Бросила дочку на руки бабушки, получила диплом и тоже пошла в Большую литературу – устроилась редактором в престижное издательство...

Муж, как перестал летать, подобрел телом, усвоил вальяжные манеры (откуда что бралось) под влиянием жены, стал солидно разговаривать, неспешно ставить автографы на своих томах и гордиться тем, что в любом, даже заштатном магазине на книжной полке его фамилия блистала золотом на корешках...

Такая обычная история. Ей хотелось вырваться из серости, в которой выросла, – и оказалось после всех резких движений и рывков, что она снова в ней, и ещё глубже... а проще сказать, никогда в другой среде Варвара Петровна не была... Горько себе в этом признаваться, но появилось ощущение, что поменять ничего невозможно. И вдруг Верка с её неизвестно откуда взявшимся настоящим талантом! Это было так радостно и необыкновенно, что Варвара Петровна сначала даже заревновала к дочери и поняла, что не в силах справиться с этим чувством, но потом открыла для себя в таланте дочери новый шанс поменять свою жизнь. Профессор прочил ей большую концертную дорогу, а девочке, конечно, нужна поддержка матери, и она никогда не отпустит её одну в страшный, развратный западный мир... Да это и принято – вундеркиндов сопровождают родители, выдающихся испол-

нителей – помощники-секунданты...

Как привлекательно! Как захватывающе необычно! И вот тебе на! Поистине: повторение пройденного... только в худшем варианте... с весьма отягчающими обстоятельствами...

«Из-за какого-то еврея!!!». Не то чтобы она была антисемиткой... но почему – опять еврей? Сколько проблем в государстве – и всегда там замешаны евреи! Вся русская история связана с евреями! Во всех областях и при царях и после! И никогда до добра не доводили они все дела, в которые вмешивались! И всегда на виду были, всегда наверху! Почему? Чёрт возьми! И профессор у Верки – еврей, и зубной врач у неё Борис Соломонович, и, когда рожала, принимал Евсей Нассонович, и главный редактор у них хоть и Борисов, а всё равно все знают, какой он Виктор Сергеевич... Ну, куда ни сунься... А если, не дай Бог, опять начнётся какое-нибудь дело... вредителей, врачей, космополитов... ну зачем, зачем портить себе анкету?.. Дура Верка! И как ей сказать об этом?.. Она ведь может назло всё сделать... наоборот...

«Патефон стоял на широком подоконнике... он играл каким-то непроснувшимся звуком. Милка подскочила к окну, поднялась на ящик у завалинки и накрутила ручку... Голос поплыл медленно вверх, вверх и добрался наконец до привычного слуху тона:

«Сирень цветёт,

Не плачь – придёт,  
Твой милый, подружка, вернётся...»

Она снова положила правую руку мне на плечо, а к левой горячей ладошке прижала мои пальцы своими и снова начала учить танцевать... но я плохо соображал... ноги почему-то существовали сами по себе, не завися от моего сознания и старания, наверное, потому что я вообще плохо соображал, когда она была так близко и стояла ко мне лицо в лицо. Я её видел немного снизу, и от этого Милкины ресницы казались ещё длиннее, а нос вовсе не торчал так далеко вперёд, а немножко ужимался, становился короче, и кожица на ободках ноздрей так розово блестела, что хотелось до неё дотронуться, только не пальцами... губами... такой она была нежной и сладкой... От Милкиного запаха у меня кружилась голова, и, когда я резко поворачивался, повинуюсь требованию танца, все деревья падали на меня, ветки хлестали по глазам, я зажмуривался, сбивался с ритма, наступал Милке на ноги, и она начинала злиться:

– У тебя совершенно нет способности к танцу... или тебе медведь на ухо наступил! Ну, Додик! А может, ты не хочешь учиться?! – вдруг спохватывалась она, и всё обрывалось у меня внутри – я никак не мог лишиться счастья так долго стоять рядом с ней, касаться её горячей ладошки, ощущать её дыхание на своём лице и жадно искать неповторимый Милкин запах...

– Нет! – почти кричал я. – Что ты! Может, я не такой способный, но очень, очень хочу научиться! Не сердись! Я больше не буду!.. И не было никакого медведя... не было... Мама, наоборот, говорила, что у меня замечательный слух, только нет возможности развивать его...

– Ты умеешь хранить тайну, Додик? – Милка остановилась и так близко посмотрела мне в глаза своими серыми огромными глазищами, что я даже задохнулся...

– Конечно, умею! – мне обидно стало, что она такое спрашивает...

– Мы, наверно, скоро уедем... – прошептала Милка и оглянулась.

– Куда, Милка? – сердце у меня замерло на мгновение и потом сильно защемило, так что я зажмурился...

– Я вчера подслушала... они думают, что я плохо понимаю по-еврейски... Отец говорил маме, что всё равно тут жить не дадут... в этой милухе... а сейчас есть возможность... так надо любым способом постараться... Понимаешь? – я ничего не понимал, но мотнул головой. – А мама говорит ему: «Страшно!». А он дико разозлился и прямо зашипел: «Ан алте бхейме! Зиц до унд варт! Варт! Зей велт вайзен алемен! Алемен!»... Ты понял? И кулаком стал махать...

Я почувствовал, что надвигается что-то страшное, непонятное и непоправимое в моей жизни и прошептал:

– А как же я, Милка, как же я?.. Без тебя...

– Нареше копф! Я поэтому тебе и сказала! Только ты ни-

кому не говори, что я! Никому! Если ты мне друг! Но ты должен сказать своей маме, что знаешь про это.

– Про что, Милка?

– Ты совсем маленький, Додик... совсем... я не знаю, куда и как, но раз отец сказал... может быть, мы уедем вместе...

И я понял в тот момент, что готов ехать куда угодно, но только туда, где будет она... потому что невозможно даже представить, что Милки нет рядом... И за забором, где мы сейчас стоим, будут жить совсем чужие люди. Ни один голос на свете не похож на её голос, и ни одни глаза, такие серые и такие глубокие, и нет ни одного запаха, который можно спутать с её запахом... Ну, почему, почему так устроен мир, что кто-то может взять и решить за другого, куда ему ехать и с кем расставаться... почему?!».

Наташа позвонила и сразу попросила не бросать трубку:

– Нам надо поговорить. Я прошу тебя, Давид! В конце концов, ты не имеешь права мне отказать хоть в этом!

– На каком основании?!

– Да на простом: ты человек, и я – человек!..

– Философски, Наташа, но, по-моему, всё уже сказано... я не люблю выяснять отношения...

– Я прошу, Боже мой, не заставляй меня унижаться...

Он представил, как она стоит у телефона с сигаретой, на одной ноге, почёсывая икру подъёмом второй ноги, голубенький махровый халатик с перехлёстнутыми полами

и скрученный-перекрученный поясочек на талии... «А вдруг и правда всё враньё... какая-нибудь сука сболтнула, чтобы насолить ей, нагадить ему... позвонили, написали... это так давно практикуется... может, неправда?! И я снова могу смотреть на неё и удивляться: неужели эти глаза мои и неужели я могу целовать эти губы, когда хочу? За что мне так повезло?». Он сжал зубы, зажмурился и почувствовал, как перехватило дыхание... «Если попячусь – это будет конец. Не тому, что у нас было, – это давно кончилось. Не ей. Не „любви“, чёрт бы побрал это изнасилованное слово! Мне конец! Во всём и навсегда!».

– Тебе неинтересно, что со мной происходит?

Они стояли на просторной площадке между этажами в библиотеке. Минуту назад Наташа шла сверху. Не спеша, чуть поворачивая носок туфли вбок на скользкой гранитной ступеньке. Она всегда чувствовала, что на неё смотрят... ещё девчонкой на деревенском лугу знала это... Додик поднимался вверх и смотрел на неё, не отрываясь. «Красивая. Очень. Красивая... она красивая. Я – идиот!». Он отвернулся к окну: «Там жизнь. И до нас никому никакого дела. У каждого своя драма и часто почище, чем у нас...». Наташа попыталась за рукав развернуть его лицом к себе.

– Додик, я знаю, тебе наговорили чёрт-те что, и ты поверил! Степанов здесь ни при чём!..

– Послушай, Наталья, когда ты станешь совсем знаменитой, – он так и смотрел в сторону, – об этом будут знать все...

а пока мне совсем не обязательно выслушивать от тебя, с кем ты теперь спишь...

– Ты стал таким грубым, Додик! На тебя плохо влияет писательская среда... Может быть, хватит дуться... и верить сплетням...

– Я не дуюсь!.. Понимаешь, второй номер бывает в пулёмётном расчёте, в звене истребителей... – он покрутил рукой в воздухе. – В теннисе, в волейболе! Во: в футбольной команде...

– Не хами, Додик, тебе это не идёт! Ты не так воспитан...

– Жаль!

– Что? Что жаль? Ты сам виноват!

– Жаль, что мне не идёт... так хочется нахамить тебе... может быть, стукнуть... обозвать и послать... – он смотрел на неё изучающе. – Этого мало?..

– Глупо... я просто люблю тебя... – она закусила губы и побледнела, – каждый человек может ошибиться, понимаешь? Каждый!

– Понимаю! Поэтому и дал тебе возможность ошибаться, сколько угодно, чтобы не сковывать твоей свободы, но не хочу исправлять твои ошибки...

– А тебе можно? – перебила Наталья, и губы её вытянулись в две струнки и побледнели...

– Да. Правда. Я ошибся... и теперь исправил свою ошибку сам... Меня больше нет, понимаешь... я хочу всегда быть первым...

– Поэтому нашёл себе девочку! – перебила Наталья.

– Наташа, мы чужие люди... пойми... это правда, и навсегда... поэтому не суди обо мне... я не знаменитость... и мне для карьеры не нужна скандальная богемная грязная слава...

– Какой же ты пошляк!

– Правда! В наше время говорить то, что думаешь, – пошло и глупо...

– Ты упрекаешь меня в моей провинциальности, не возражай. Я же чувствую. А сам?..

– Ну, при чём же здесь я? – взорвался Додик. – Ты уже доказала мне, что я полное ничтожество, что не ценю твой талант, что ты превозмогла такие обстоятельства, что я должен непрерывно восхищаться... Ну, ты нарочно или нечаянно спутала сцену и жизнь, свалила всё в одно... это на сцене можно легко заменить заболевшего героя-любownika или субретку... какие там ещё амплуа – я не драматург... это там можно развести интригу, переспать ради роли с режиссёром, подставить ножку партнёрише... а мне вовсе неважно, что делается на сцене... я в своей-то жизни никак не разберусь... Я не от восхищения к твоим ногам упал... совсем от другого, а ты даже не наклонилась посмотреть, кто там... просто вытерла об меня ноги и перешагнула... зачем тебе какой-то ни то ни сё, который всё никак в люди не выбьется... ты так стремительно шагаешь... из провинции притащилась в столицу, с первого захода поступила в театральный. С третьего курса начала сниматься, в театр модный попала... ну, сказ-

ка про Золушку... ну, спасибо лично генеральному секретарю и советскому правительству за счастливое детство... я здесь при чём? Найдётся тот, кто тебя оценит! А победителей не судят! И цель оправдывает средства!.. Всё. Прости меня. Я никого, никогда не сужу! Не облечён такими божественными полномочиями... всё. Прощальный бал отменяется. Хотя невеста вся в белом!

– Ну, прощай! – в её голосе звучала угроза. – Ты ещё пожалеешь... вот увидишь... – она развернулась, сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью...

– Я уже жалею... – задумчиво пробормотал Додик. – И ничего не исправлю... и не попытаюсь... но урок мне не на пользу... всё равно... я чувствую: это опять повторится...

– Ты не замёрз ждть? – Вера выскочила из парадного в пальто нараспашку с рассыпанными по невысокому вздёрнутому воротничку локонами. У Додика всё сжалось внутри и закричало: «Нет! Нет! Я готов тебя такую ждть всегда! Бесконечно!».

– Искусство требует жертв, – произнёс он безнадёжным голосом. – А такое прекрасное – вдесятеро!

– Прости! Неудобно! Известный писатель – и так мёрзнет на улице.

– А неизвестного и не писателя удобно? Соблюдаешь субординацию? – его всё же задело бесцельное блуждание

по улице взад-вперёд! – Это откуда у тебя?

– В семье офицера выросла! – она тоже начинала сердиться.

– Давай сначала погреемся, а потом обсудим! Лучше будет думаться...

– Ну, не сердись... – примиряюще сдалась Верочка и поцеловала его. – Мне даже мой Израилитч сказал: «Верочка, сегодня мы совсем заморозим вашего мальчика... ты бы его пригласила, что ли... посидеть с нами... я разрешаю...».

Вообще-то он никого не пускал на уроки. Только свои ученики могли присутствовать, и это даже приветствовалось... «рекомендовалось», как он выражался. У Якова Израилевича была на то своя теория, которую можно было по крупицам составить из его высказываний. Во-первых, он считал неэтичным допускать к себе учеников другого педагога, не уведомив его, потому что ученик не должен разбрасываться. Дело даже не в том, что «чужой» педагог лучше «моего», а в том, что подопечный не видит всего пути, намеченного мастером, и судит по частностям. Посещение другого педагога и следование его советам сбивает намеченную линию. Музыканты – народ увлекающийся, начинают пробовать и так и этак, а в результате остаются без прочной классической школы, а натасканные обрывками чужих методик... Во-вторых, Яков Израилевич считал, что, когда его студенты следят за тем, как играет товарищ, подмечают его ошибки, а следом и то, как он их исправляет, – очень важно... В-

третьих, чем больше человек находится в мире музыки, тем лучше для него, а для музыканта – просто нет другой атмосферы в жизни, в этом он был уверен... Было ещё и в-четвёртых, и в-пятых, но об этом можно было услышать крайне редко и не каждому... Он рассказывал, что, когда сидел, и у него, естественно, не было инструмента, каждый день играл «в уме»... и мозг подавал пальцам сигналы, равные тем, которые возникают во время «настоящей» игры с касанием клавиш... так что уметь «играть без рояля» так же важно... и «при чужих всего не скажешь, не так понять могут»...

Чего не знали его нынешние ученики – что на самом деле так и было. Настучал на него студент другого профессора, его коллеги. Мальчишка, очевидно, пытавшийся восполнить недостачу таланта таким способом... И три года... три года...

Он вернулся сразу после смерти вождя, полностью оправданный... и возмущённый. Возмущённый не ложным наветом, но «оправданием». В чём? Значит, была какая-то его вина? Не вина подлеца, которого он знал как благополучного теперь чиновника, так и продолжавшего делать карьеру около музыки...

Додик сидел в углу на стуле, отвернувшись от Веры, чтобы не смущать её...

– Девочка! – профессор положил раскрытую ладонь на крышку рояля и в упор смотрел на Веру, чуть наклонившись к ней. – Трудность Шопена в его кажущейся лёгкости,

да? В простоте и логичности письма... Сыграно согласно нотам всё замечательно, но так ли чувствовал Шопен? Вот в чём дело!.. Да? Чтобы передать его страдания, есть два пути: пройти то, что прошёл он. Отмечаем сразу. Невозможно пройти чужой путь, да и свой дважды, невозможно страдать за всех великих... у них и страдания были великими! Но возможно понять их из их же текста и вообразить! Вот именно то, чем надо заниматься! Да? Воображение – предмет увлекательный и первостепенный! Понимаешь, девочка?!. Его лёгкость от великой глубины! Там, в глубине, ты паришь, потому что напитана ею и приобрела такой же вес... ах, как это передать... вот послушай! Шопен выше всех слов, послушай... – и руки его легли на клавиатуру.

Началась Музыка. Он в этот момент отдавал всё, что накопилось. Он хотел, мечтал, стремился, чтобы эта талантливая девочка, в которую верил, сделала наконец ещё один маленький шагочек, который будет уже там, в пространстве Шопена... этот крошечный шагочек, который отделяет ученика от творца... Неожиданно для себя Додик почувствовал, что щёки его совершенно мокрые и солёные капельки скатываются по ним в уголки губ... он расплывающимся сквозь слёзы взглядом увидел бледную, стоящую в торце клавиатуры Веру, её полураскрытый рот и часто-часто бьющуюся на шее жилку, и... закрыл глаза, чтобы не разрыдаться...

Рояль замолчал. И все молчали...

– Он, наверное, умер, потому что всё сказал... что ему

велел Б-г... а страдать больше не было сил... – тихо произнёс профессор, поднял взгляд с клавиатуры и перевёл его на Веру. – Надо рисовать не осень, которую видишь, а то, что ты чувствуешь, когда видишь эту осень... понимаешь, да? Только это интересно... копия – это рабство... а прекрасна лишь свобода... – все молчали. – Есть одно стихотворение... Вашего коллеги, – вдруг обратился он к Додику и снова замолчал. – Из того, что не печатают, – и опять пауза. – Пока... пока... не печатают, – он вздохнул. – Но как раз об этом...

Оконная рама, как рама картины, —  
Природа палитры своей не таит —  
Видны и тончайшая нить паутины,  
И солнце, прожѐгшее медью зенит.

Зачем рисовать, если всё здесь открыто:  
И листик, и неба прозрачная гладь,  
И в нём самолѐта крутая орбита,  
И каждый здесь может своё увидеть!..

Затем вот, затем, что на холст переносят  
Не солнце и небо, леса и ручьи,  
А то, чего сердце безудержно просит,  
А только лишь нервы и чувства свои!..

Ночью, в душном забытьѐ, к нему вернулась мама и долго ничего не говорила. Она пристально смотрела, поочерѐдно выгибала все свои длинные пальцы, уперев их в ладонь

другой руки. Казалось, этой муке не будет конца, но она тихо произнесла губами: «Додик, почему у тебя одни гойки? У тебя не было ни одной еврейской девушки, Додик! Подумай! Что это значит?.. Если ты просто гуляешь с ними – это нечестно... они же верят тебе! А если ты хочешь на самом деле жениться на гойке – не делай этого! Они все очень хорошие, может быть, но однажды ты очень пожалеешь об этом!..». И она пропала опять, а ему стало страшно во сне уже, что она, значит, где-то рядом! Никуда она не улетела! Ни она, ни душа её! Она рядом и всё знает про него, следит за ним... и переживает!!! Он всю жизнь огорчал её, и теперь опять...

Он проснулся и так ясно ощущал видение, что даже потрогал вокруг руками постель, тумбочку с лампой, тревожный колпачок будильника... «Что же это всё значит?.. Ну, верно, снится то, о чём думаешь, но это всё объяснения, а мама была здесь, рядом, откуда она знает... и как же она может судить, если с ними не знакома! Ну, Веру-то она никогда в глаза не видела! Как это всё понимать? Что за предупреждения такие... И если моя мама, которая так меня любила... нет, любит... говорит такое, то наверняка её мать тоже скажет: „Не выходи за еврея!“ – у него нехорошо похолодело внутри! – Только нельзя этого произносить вслух, потому что всякая мысль материализуется – и я это хорошо знаю... проверял уже...».

Он поплёлся на переговорный пункт и заказал разговор.

В тесную комнатку было втиснуто две телефонные кабинки, и, когда в них открывалась дверь, вспыхивал свет. Люди кричали в трубку, огораживая ладошкой рот и направляя звук, но всё равно было, наверное, плохо слышно. Все выходили из кабинок взмокшие от волнения, от страха, что не расслышат, не поймут, что кончатся минуты – и не успеешь сказать главного... Додик вернулся к стойке, перегнулся к девушке и сказал, чтобы добавила ему ещё три минуты... Она улыбнулась в ответ, покачала кокетливо головой и проворковала: «Ладно, ладно, и кому это вы звоните?!». Додик ничего не ответил... Он не сразу понял, что вызывают его, когда телефонистка объявила: «Алма-Ата! Вторая кабина!».

Слышно было очень хорошо, только шорохи и потрескивание всё время напоминали, как далеко они друг от друга.

– Что случилось, Додик? – голос отца был привычный и требовательный.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.